



В. В. РОЗАНОВ

**Чем нам дорог Достоевский?
(К 30-летию со дня его кончины)**

Прочёл в «Вестн. Евр.» статью С. А. Адриянова¹ о Достоевском, вызванную тремя о нём статьями — Андрея Белого, г. Крайнихфельда и Вячеслава Иванова, в свою очередь вызванными 30-летием со дня смерти Достоевского, исполнившимся в этом году...

Тридцать лет прошло, а как будто это было вчера... Мы, толпою студентов, сходили по лестнице из «большой словесной аудитории» вниз... И вдруг кто-то произнёс: «Достоевский умер... Телеграмма». — Достоевский умер? Я не заплакал, как мужчина, но был близок к этому. Скоро объявилась подписка на «Полное собрание сочинений» его, и я подписался, не имея ничего денег и не спрашивая себя, как заплачу.

«Достоевский умер»: и значит живого я никогда не могу его увидеть? и не услышу, *какой у него голос!* А это так важно: *голос* решает о человеке всё... Не глаза, эти «лукавые глаза», даже не губы и сложение рта, где рассказана только биография, но *голос*, т. е. *врождённое от отца с матерью*, и следовательно, из вечности времён, из глубины звёзд...

Я вспомнил начало знакомства с ним. Мои товарищи по гимназии (нижегородской) уже все были знакомы с Достоевским, тогда как я не прочитал ничего из него... по отвращению к звуку фамилии. «Я понимаю, что *Тургенев* есть великий писатель, равно как Ауэрбах и Шпильгаген: но чтобы *Достоевский* был в каком-нибудь отношении прекрасный или замечательный писатель — то это конечно вздор». Так я отвечал товарищам, предлагавшим «прочитать». Мы делали ударение в его фамилии на втором «о», а не на «е»: и мне представлялось, что это какой-то дьякон-расстрига, с длинными

волосами и маслящий деревянным маслом волосы, рассказывает о каких-нибудь гнусностях:

— Достóевский — ни за что!..

И вот я в VI классе. Вся классическая русская литература прочитана. И когда нас распустили на рождественские каникулы, я взял из ученической библиотеки его «Преступление и наказание».

Канун сочельника. Сладостные две недели «отдыха»... Впрочем, от чего «отдыха» — неизвестно, потому что уроков я никогда не учил, считая «глупостью». Да, но теперь я отдыхаю *по праву*, а тогда по хитрости.

Отпели вечерний час, и теперь «окончательный отдых». Укладываюсь аккуратно на своё красное одеяльце и открываю «Достóевского»...

— В., ложись спать, — заглядывает ко мне старший брат, учитель.

— Сейчас. Через два часа:

— В., ложись спать!..

— Сию минуту.

И он улётся, в своей спальне... И никто больше не мешал... Часы летели...

Долго летели, пока раздался грохот за спиной: это дрова вывалили перед печью. Сейчас топить, сейчас и утренний чай, вставать... Я торопливо задул лампочку и заснул...

Это было первое впечатление...

Помню, центром ужаса, когда я весь задрожал в кровати, были слова Раскольникова Разумихину, — когда они проходили по едва освещённому коридору:

— *Теперь-то ты догадался?..*

Это когда «без слов» Разумихин вдруг постиг, что убийца, которого все ищут, — его «Родя». Они остановились на секунду: и вдруг добрый и грубый бурш Разумихин всё понял. *Как он понял* — вот эта «беспроволочность телеграфа», сказанная в каком-то комканьи слов (мастерство Достоевского, его «тайна») — и заставила задрожать меня. Я долго дрожал мелкой, бессильной дрожью...

* * *

Но это — впечатление одной страницы, даже нескольких строк, и да не распространяет читатель этого «переживания» на «впечатление от Достоевского» вообще. Напротив, в проти-

воположность почти всем читателям, я за всю жизнь ни разу не пережил от него *болезненного впечатления*, патологического, нервирующего, о котором говорят все. И не понимаю, что́ это такое «болезненное впечатление».

Я всегда его читал ровно, спокойно... Об убийствах или философию — всегда ровно. Нигде — дрожания, страха. Нигде — отвращения. «Ровно читаю», — везде ровно, — «моего Достоевского».

В слове «моего», пожалуй, выражена сущность дела, т. е. *мотив* безустанности совершенно *безболезненного* чтения. Никак не скажешь: «я читаю *моего Толстого*», «я читаю *моего Горького*», «моего Шпильгагена»... Почему? Шпильгаген писал *для мира*; и когда мир стал читать его, то между читателями очутился и я. Таким образом между «мною» и «Шпильгагеном» не было соединительной нити: я *восхищался* его идеями, или его *романом*. «Шпильгаген» я употребляю для примера (тогда много его читал), но можно подставить всякое другое имя. Всякий «писатель» для читателя вообще, для меня мальчика был «гора», на которую я *смотрю*. Какая же связь? Что общего?

Самое поразительное в впечатлении от Достоевского было то, что он не был «горою»... Вообще «величественного» ничего не было. Не «Тургенев» (звук имени)... Но он, не с десятой, а с первой страницы, даже если хотите, с первых строк как будто вошёл в эту самую комнатку, с красным одеяльцем, и, побродив угрюмо и молча по ней, подсел к боязливому мальчику на кроватку, пощекотал его, сморщился, улыбнулся, и затем тусклым языком, плетясь и плетясь, начал... говорить, рассказывать, объяснять... ещё рассказывать, больше всего рассказывать, не обращая никакого внимания на «мальчика», и всё говорил о какой-то своей задушевной муке, задушевной скорби, о самых тайных своих биографических фактах...

А мальчик, хитренький и не учащий уроков, всё слушал и замирал... И страшно много узнал нового, неожиданного... Развратился и просветлел... «Согрешил» и «воскрес»... всё с Достоевским.

— Ах, как *тяжёл* грех...

— Ах, как бы *опять* к Богу...

Это, я думаю, главное нагнетание... И что́ поразительно: разные «Бокли» не изгонялись из души, и, чередуясь, проходили по этой душе, потом «материализмы», «атеизмы», «социализ-

мы», — вся русская «обывательщина». Право, атеизм так сроден русскому гимназисту, что это есть просто «обывательское русское явление», событие «нашей Петропавловской улицы», и нужно перестать быть «Ивановым» и обратиться в «Шмидта», чтобы перестать быть «атеистом и социалистом». Хорошо: но вот в чём дело. Пока года четыре спустя после прочтения первого романа Достоевского плыли потом «социализмы» и «атеизмы», — то *совершенно параллельно им и одновременно с ними* стала упорная точка или, пожалуй, тёмное облачко, ни во что пока не разрешавшееся, даже ни с чем (с «атеизмами») не спорящее, но — *не они*. Стало и не уходит. Ничего не говорит, а только *всё видит*. Те, другие облака, плыли, сплывали: а это — *всё одно* и *всё стоит*.

Потом все те облака стали *скучны*... Просто не стало никакого интереса ко всем «атеизмам», хоть какие они ни будь, хоть «разрази всю вселенную» и «сорви все кресты с церковей и все троны с земли».

— Скучища... Господи, какая это тощища...

И осталась интересна ужасно маленькая точка, даже две точки:

— А, однако, как утешить, успокоить, *облегчить* NN (Макара Девушкина, или рассказчика «Белых ночей», Нелли, Соню Мармеладову, «честного вора» и т. д.).

И ещё:

— А как же, однако, и *почему* Разумихин понял Раскольникова, когда тот ему ничего не сказал и вообще не сделал никакого признания?

Точка антропологическая: *человек*.

Точка космологическая: мир, как *загадка*.

* * *

Так, кажется, было дело. «Бокли» и «Лассали» — всё поплыло как *мелочь*; социализм или атеизм тоже сплыли как *мелочь*, «некоторые из *человеческих построений*»... Достоевский вернул душу к великому реализму: как вот, однако, быть с «честным воровом», который взял да и удавился от совести... «Поменьше бы совести: не удавился бы»; а если такая совесть, то «как не удавишься»? Что же: «уменьшить ему совесть» или «бросить верёвку и сказать — *вешайся*!» Труднее решить, чем всего Лассалья.

Трудность мира — не в схемах, а в конкретном: трудность — в «мелочах». Город сделать благополучным — не великое дело; а вот проживи-ка ты благополучно в *своей семье*. На первое хва-

тит хорошего губернатора, вторую проблему не умел разрешить Толстой.

Но если «город благополучен», а в городе «всякая семья несчастна», то на кой чёрт то большое, грандиозное, схематическое, философское и социальное «благополучие»? А между тем «домашнее благополучие» иногда зависит от такой дрянной вещи, что вот у меня сапог ногу жмёт. Ну, в этом роде... Когда сапог давит на мозоль, никакой «гармонии вселенной» не обрадуешься.

Счастье — в бесконечной индивидуальности.

«Счастливей» столько, сколько индивидуальностей...

Береги индивидуальность; береги всю жизнь: вот канон, и нет других.

Но *этот* канон — отрицание всяких канонов... «Броди, человек, в лесах, в полях; броди по улицам, в городах; и только внимательно смотри, чтобы твоя тропа ни с чьей чужой не пересеклась и ничьей чужой не мешала»...

* * *

Но я всё сбиваюсь и отвлекаюсь в сторону от Достоевского... Чем же, собственно, он стал дорог с первой строки и с первой минуты знакомства? «Пришёл и сел в комнату», «пришёл и сел в душу». Но это аналогии и описания.

Суть Достоевского, ни разу в критике не указанная (сколько я знаю её историю), заключается в его *бесконечной интимности*...

После лица и книги, которых я не хочу здесь называть, ибо они *вне* человеческих сравнений, Достоевский есть самый *интимный*, самый *внутренний* писатель, так что *его* читая — как будто не *другого кого-то* читаешь, а слушаешь свою же душу, только глубже чем обычно, чем всегда... Ведь и «своя душа» раскрывается вот до такой-то глубины, вот до другой глубины, а бывает и совершенно поверхностна, и, наконец, легкомысленна. *Чудо* творений Достоевского заключается в устранении расстояния между субъектом (читающий) и объектом (автор), в силу чего он делается *самым родным* из вообще сущих, а, может быть, даже и будущих писателей, возможных писателей.

Это несравненно выше, *благороднее*, загадочнее, значительнее его идей. Идеи могут быть «всякие», как и «построения»... Но этот *тон Достоевского* есть *психологическое чудо*.

Идеи *были* у вас, и прошли... Но свои идеи, и *прошедшие* — *дóроги*. Вот почему «все идеи» Достоевского могут пройти, или

могут оказаться ложными, или вы их перестанете разделять: и от этого *духовный авторитет Достоевского нисколько не уменьшается*. Это — чудо.

Как оно взялось у него? «Я всегда больше любил *обдумывать* свои произведения, чем писать их, — говорит он, почти не замаскировываясь, что — о себе, в «Униженных и оскорблённых». Это показывает в нём *не первоклассного писателя*, у которого естественно центр наслаждения — *самое писание, самая форма* (как сказало «обдуманное»).... Итак, за «писателем» в Достоевском стоит другое, *важнейшее* («больше любил это»...). Не будь «писателем», он бы и иначе выразился; в *другую эпоху*, наверное, выразился бы не журналистом с серией романов в руках, а *иначе* и, может быть, *ярче*, пламеннее, *мирообъемлюще*... Вспомним его «Сон смешного человека», «Легенду об инквизиторе» и рассказ Версилова своему сыну о заграничных странствованиях («Подросток»).... Вообще из всех «сочинений» Достоевского можно бы извлечь от 20 до 50 страниц такого текста, который как-то странно видеть в «романах», которые испепеляют и уничтожают всякую форму беллетристики и показывают в нём *человека, сердце, ум* совершенно сверхъестественных размеров: провидца, ясновидца, «одержимого» или «пророка», «святого» или опять-таки «одержимого»... Такие «эпилептики» в древние, наивные и доверчивые времена, времена доисторические, начинали культуры, цивилизации, строили или перестраивали «великие города»... В Достоевском было немножко от «Ромула и Рема», вскормленных дивной волчицей, или от «Нина и Семирамиды», с историей о какой-то «голубке», в которую, кажется, обратилась Семирамида, предварительно задушив мужа. Последнее сочетание особенно напрашивается в аналогию к нему, у которого элемент преступности, *тяготение к преступному, интерес к преступному*, как-то таинственно и загадочно сплетался с праведными, святыми порывами, чувствами, словами. В Достоевском более, чем в каком-либо русском человеке, содержалось явное иррациональное чудо, ни существа, ни границ которого мы не знаем и не можем понять (именно как в *чуде*), но их *чувствуем*... Ни в ком ещё из русских не было так много *супра-натурального* мира, как в нём... И так как «супра-натуральных чудес» раскидано довольно много в истории (только не в нашей), то можно вообще сказать, что вникание в Достоевского есть лучший мост

из всего, что имеется в русском оказывании (литература, наука) для разгадывания и постижения — вообще всемирной истории, которой мы собственно не имеем самого «нюха».

* * *

Но оставим это и вернёмся к *интимному*. Итак, он больше любил «думать», чем «писать»... И романы его, как равно «Дневник писателя», есть только неполная и несовершенная, именно немного *похолодевшая* и *неприноровлённая* («меньше люблю писать») форма, но этих самых его сжигавших и томивших мыслей и чувств, этих чудодейственных *отношений его сердца к миру*... В сущности, он всё и говорит об этом, об *одном* этом... Он говорит о мироощущении, вот как «скользнул боком я, червяк, по боку — мира чудного, который создал *Бог*»... Не нахожу слов выразить то, что чувствую. Достоевский всю жизнь пытался выразить, и иногда это ему почти удавалось (20 страниц, 50 страниц), совершенно новое мироощущение, в каком к Богу и миру не стоял ни один человек. Это — не наука, не поэзия, не философия, наконец, это и не религия или по крайней мере не одна она, а *просто новое чувство самого человека, ещё открывшийся слух его, ещё открывшееся зрение его*, но зрение души и слух тоже души. «Услышал новое, увидел новое» (собственные слова в «Сне смешного человека»); но по новизне не было у него слов, не было ничего соответственного, точного и реального, в старых словах. Я думаю, это всё и чувствуют в его четырнадцати томах: пытается сказать, а не может сказать. К описанию этого он подходит, в частности, где говорит, почти тоже, не замаскировываясь, о своей эпилепсии. Но ведь эпилептиков очень много, а этих «чудес» о себе они не рассказывают, и вообще тут «мелкий бес» подозрительности или скромности заставлял Достоевского всё кивать на «медицину» и сваливать в её немые реторты... Конечно, тут дело не в медицинской эпилепсии, несколько не экстраординарной, а в том, что *за нею стояло и вызывало самые припадки эпилепсии*, как бы временное безумие и потерю памяти... Слов ясных он и не мог найти, потому что в памяти сохранялись только последние секунды перед припадком; но вот эти 20–50 страниц несут, как зарю, отсвет в себе того солнца, которого прямо он и не видел сознательно сам, и не мог ничего о нём рассказать определённого. Но «цвета», но «спектр» *в заре те же, что в солнце*. И он говорил о нём:

— Ах, вот если бы *это, чего не умею выразить* — то все были бы счастливы, *все*; и *лев лёг бы рядом с ягнёнком*.

Таким образом он держал «почти в руке» развязку самых мучительных мировых проблем, — не владея чем и выдумываются почти отчаявшимся человечеством «социализмы» и «атеизмы»... «Ах, не *тó* не *тó*», — твердил он. А что же есть «*тó*», — не успел выразить, да даже вполне *отчётливо*, в форме «видимого солнца», а не прощальной «зари», и сам он не знал. «Ах, видел *зарю*: но *солнца* никогда не видел. Но *знаю*, что оно есть: вы же именно не знаете, все и никто, что есть, существует и когда-нибудь покажется это солнце».

* * *

Но я всё отвлекаюсь от его *интимности*: она и произошла от этой страшной занятости его духа одной мечтой, одним желанием, одной потребностью, которая не находит истока. Тогда не будешь писать романа «в правильных главах». Получится весь тот хаос, который заключается в его 14 томах; но хаос этот везде проникнут таким *мучительным шёпотом вам в ухо*, что вы, забывая более правильные творения, слушаете этого «эпилептика»... как слушали Нуму Помпилия первые пастухи Рима, или слушала Семирамида свою вещую «голубку»... Опять я сбиваюсь от секрета *тона*: в каждом человеке есть *способности*, которыми он работает, — память, ум, воображение, мозговая воля, чувство вкуса и меры; и есть *серёdochка души*, обыкновенно скрытая у всякого, и которая только изредка и нечаянно прорывается. Все 14 томов Достоевского, где вкуса не очень много, являют эту «серёdochку» его души. И вот это-то и образует его *бесконечную интимность* с каждым (соответственным) читателем, который за его книгу берётся и который вовсе не читает его, как «литератора», вовсе не видит в нём «писателя», «гору *вне себя*», а чувствует, что какая-то одна душа реет в нём самом и в Достоевском, душа «возможная и во мне», душа «мною забытая», душа «моя ошибочная», но именно, однако, моя душа, родная; вечная и всеобщая, — и в то же время *его единичная*, Ф. М. Достоевского. Говоря языком древних философов, в нём было немножко «души мира», частица которой конечно есть «и во мне», есть она в «каждом». И вот эти частицы, при чтении, сливались до безраздельности, до единства; да даже в реальности — они и суть *одно*. Конечно, это совсем другое, чем писать роман «своею способностью

вкуса» или «даром художественного воображения». Какое мне до всего этого дело? Но о Достоевском никак не скажешь: «мне до него *нет дела*». «До Достоевского» есть дело каждому: ибо никто не может быть равнодушен к своей душе. Достоевский — не «он», как Толстой, как всякий; Достоевский — «я», грешный, дурной, слабый, падший, поднимающийся. По тому, что он есть «я», и при том каждого человека «я» — он встаёт с такой близостью, с такой теснотой к каждому, как этого вообще нет ни у одного писателя, кроме Лица и Книги, которых мы не упоминаем. И навсегда Достоевский останется поэтому наиболее «священным» из наших писателей, ибо он совершенно перешёл грани литературы, отчасти разрушив их, внутренне разрушив, — и передвинувшись в сторону, где вообще все полагают «священное», полагают «религиозное» в первобытном смысле. Дабы кому-нибудь не показались наши слова преувеличенными, скажем, что был «ближе к Истине» разбойник на кресте, нежели Платон в Академии. Все слабости Достоевского — при нём; вся немощь — при нём; и может быть из идей его — ни одна не истинна. Но *тон его истинен, и срока этому тону никогда* не настанет.

Он говорил, как кричит сердцевина моей души.

Как тоскует душа всех людей в чёрные и счастливые минуты...

Когда мы плачем...

Когда мы порываемся...

Когда мы клянём себя...

Всё, всё это — *у нас как у него*, который был «так близок к Истине», что это составляет чудо его личности и биографии, которого с ним никто не разделил.

1909

